



## ЭЗОПОВ ЯЗЫК У НЕКРАСОВА



тати И. Г. Ямпольского «Сигнал неблагополучия»<sup>1</sup> и «Еще раз о точности»<sup>2</sup> произвели сильное впечатление в филологической среде. В них на огромном материале было показано, что работы многих наших литературоведов, в том числе достаточно именитых, опускаются ниже уровня «мировых стандартов» филологической науки. В исследованиях, популярных статьях, даже в учебниках искажаются заглавия произведений, даты, сюжеты, цитаты, биографические сведения, библиографические данные, фамилии, неверно указываются авторы, путаются разные лица и т. д., и т. п.

Но картина искажений, нарисованная И. Г. Ямпольским, неполна. Встречаются и другие виды извращения истины. Неверные утверждения возникают под пером литературоведов не только от ошибок памяти, недостатка знаний или научной невоспитанности. Они зависят и от применения неправильных методологических приемов.

Одним из наиболее опасных является не контролируемая контекстуальным анализом интерпретация текста как написанного эзоповым языком и поэтому требующего дешифровки для установления подлинного смысла.

Значение эзопова языка для понимания произведения классической русской литературы общеизвестно и неоспоримо. Оно особенно существенно, когда речь идет о революционно-демократической литературе. Бесспорно, что многие произведения революционных демократов не могли бы появиться, многие темы не

<sup>1</sup> «Вопросы литературы», 1973, № 10.

<sup>2</sup> «Вопросы литературы», 1975, № 11.

могли бы даже быть затронуты в легальной печати без применения эзоповской речи. Изучение революционно-демократической литературы просто невозможно без выявления и интерпретации «эзопизмов». Однако такая интерпретация должна быть методологически безукоризненной, иначе вместо пользы можно нанести серьезный ущерб нашей историко-литературной науке. Опасность состоит в том, что эзопов язык видят там, где объективно установить его наличие нет возможности и основания.

Поскольку эзопов язык особенно существен в произведениях революционных демократов, метод «дешифровки» текста может особенно легко разойтись с семантическими принципами поэзии, — я проанализирую в этой статье лишь изучение эзопова языка в поэзии Некрасова.

Основная статья об эзоповом языке Некрасова принадлежит К. И. Чуковскому. Написанная крупнейшим, авторитетнейшим исследователем Некрасова, работа эта широко известна и доньше оказывает решающее воздействие на всю литературу по данному вопросу. Поэтому мы уделим ей особое внимание, несмотря на ее двадцатипятилетнюю давность.

Статья К. И. Чуковского «„Эзопова речь“ в творчестве Н. А. Некрасова» была впервые напечатана в первом «Некрасовском сборнике» (М. — Л., 1951), а затем вошла в состав известной книги К. И. Чуковского «Мастерство Некрасова» в качестве последней главы. Мы будем цитировать статью по четвертому изданию этой книги (М., 1962).<sup>1</sup>

Основным содержанием статьи К. И. Чуковского является перечень приемов эзопова языка, употреблявшихся писателями революционно-демократического лагеря, с примерами, взятыми преимущественно из произведений Некрасова. Фиксируются такие приемы, как перенос действия произведения в другую эпоху или в другую страну; ложное указание на переводность оригинального в действительности произведения; указание под произведением ложной даты; замена высших рангов лиц и учреждений более низкими (например, губернских инстанций уездными); присоединение к произведению строк, смягчающих его смысл; перевод

---

<sup>1</sup> Страницы этой книги далее обозначаются в тексте цифрой в скобках.

реальных событий в фантастический план; утверждение противоположного тому, что на самом деле хочет сказать автор; маскировка политического содержания якобы интимной тематикой; обрывание речи, создающее впечатление о том, чего цензура не пропустила бы, но о чем нетрудно догадаться из предыдущего текста; каламбур, при котором слово употребляется как будто в «невинном» его значении, а на самом деле политически острым.

Перечень этот не вызывает возражений. Указанные К. И. Чуковским приемы эзопова языка можно найти и у Чернышевского, и у Добролюбова, и у Салтыкова-Щедрина, и у Некрасова. Однако интерпретации приводимых текстов Некрасова, по нашему мнению, нередко произвольны и нарочиты, а самое применение эзопова языка у Некрасова сильно преувеличивается К. И. Чуковским.

Известны случаи, когда Некрасов в цензурных целях приписывал к стихотворению несколько «смягчающих» строк, которые при перепечатке убирал, если это было возможно. Но К. И. Чуковский усматривает в текстах Некрасова такое расширенное применение этого приема, при котором он уже переходит, в сущности, в свою противоположность. Например, Чуковский утверждает, что Некрасов писал целые произведения для цензуры, чтобы провести в печать пару заветных строк. Такой «прием эзоповской речи революционных демократов, — пишет К. И. Чуковский, — я назвал бы приемом наложения сетки. Писалось, например, стихотворение ради двух или трех очень важных, политически острых стихов, и тут же писались строки, так сказать, официального порядка, вполне благонамеренные, под прикрытием которых и можно было надеяться сохранить для печати опасные в цензурном отношении места. Такая система была основана на полной уверенности, что читатель непременно поймет, какие из этих стихов вынужденные, а какие свои, настоящие, то есть как бы наложит на них сетку, прикрывающую строки, которых не нужно читать. (...) Именно на эту сетку рассчитано стихотворение «Свобода», написанное под впечатлением освобождения крестьян. Самое главное в этом стихотворении — горькие и мудрые строки:

Знаю: на место сетей крепостных  
Люди придумали много иных.

(II, 100)

Но что сделать, чтобы они могли появиться в печати? Пишутся «оптимистические» стихи о том, какое счастье ожидает детей освобожденных крестьян, и, хотя эти стихи сейчас же объявляются пустыми фантазиями:

В этих фантазиях много ошибок,—

все же они производят впечатление совершенно цензурных, после чего и печатаются единственно ценные для Некрасова строки о том, что крестьяне по-прежнему остались в цепях» (700).

Проверим правильность такой интерпретации стихотворения.

Приведем его полностью:

### СВОБОДА

Родина-мать! по равнинам твоим  
Я не ездил еще с чувством таким!

Вижу дитя на руках у родимой,  
Сердце волнуется думой любимой:

В добрую пору дитя родилось,  
Милостив бог! не узнаешь ты слез!

С детства никем не запуган, свободен,  
Выберешь дело, к которому годен,

Хочешь — останешься век мужиком,  
Сможешь — под небо взовьешься орлом!

В этих фантазиях много ошибок:  
Ум человеческий тонок и гибок,

Знаю: на место сетей крепостных  
Люди придумали много иных,

Так!.. но распутать их легче народу.  
Муза! с надеждой приветствуй свободу!

(II, 99)

Спросим себя прежде всего: нужно ли было Некрасову применять «прием сетки», чтобы провести через цензуру мысль о том, что «на место сетей крепостных люди придумали много иных»? Эта мысль ведь не направлена прямо против правительства и его агентов, которые, кстати сказать, в эту пору — одну из наиболее либеральных в истории русской цензуры — не были так охраняемы цензурой, как в николаевскую эпоху; напротив, в это время широкое распространение получили рассказы и повести, обличавшие чиновников во взяточ-

ничестве, казнокрадстве, кумовстве, неправосудии, прислужничестве и других пороках. «Прошлые времена хоропят», но умирать они не согласны и всячески стараются, преобразуясь, выжить — это постоянная тема Щедрина в ту пору, — тема, фигурирующая в его очерках и рассказах без всяких «сеток».

В двух строчках, выделенных Чуковским, не было ничего такого, что должно было бы вызвать сопротивление цензуры. Но для чего тогда было Некрасову писать неискреннее стихотворение? А почему, собственно, мы должны думать, что оно неискреннее?

Некрасов не разделяет либеральных иллюзий, не воображает, что «свободный труд» и при убогих наделах приведет к подъему продуктивности крестьянского хозяйства, к увеличению благосостояния народа. Он зорко предвидит новые формы эксплуатации, новые «сети». Но значит ли это, что для Некрасова освобождение крестьян из-под юридической власти помещиков не имело никакой цены? Вспомним, что обличал Некрасов в своих стихах о крестьянстве в дореформенную пору. О «свободном» крестьянстве он скажет:

В жизни крестьянина, ныне свободного,  
Бедность, невежество, мрак.

(III, 310)

Но в 40—50-е годы он говорил не об этом. Он говорил об истязаниях крепостных людей («Вчерашний день, в часу шестом...», «Вино», «Нравственный человек»), о насилиях помещиков над женщинами («Отрывки из путевых записок графа Гаранского»), о запретах браков крепостных по своему выбору («Забытая деревня»), о доведении людей до самоубийства («Нравственный человек», «Извозчик»), об убийствах крепостных детей («Отрывки из путевых записок графа Гаранского»), о трагических судьбах крепостных интеллигентов («В дороге»), о страданиях крепостных людей от произвола управляющих, бурмистров, всяких надсмотрщиков («Отрывки из путевых записок графа Гаранского», «Забытая деревня»).

Все это теперь должно было прекратиться, отойти в прошлое. Было бы неестественно, если бы Некрасов не испытал от этого никакой радости, — и прощительны тут были некоторые иллюзии на первых порах, тем более что Некрасов сам сомневается в осуществимости своих надежд. Не потому ли он и не опубликовал этого откли-

ка на крестьянскую реформу? К. И. Чуковский не упоминает о том, что Некрасов напечатал стихотворение лишь через восемь лет после написания (в разделе «Приложения» 4-й части собрания своих стихотворений), когда эти стихи уже давно потеряли значение живого отклика на современное событие. Тем меньше оснований видеть в стихотворении «Свобода» приспособление к цензуре.

Через много лет — в 1874 году — Некрасов вспомнил о былых иллюзиях в таких словах:

Я видел красный день: в России нет раба!  
И слезы сладкие я пролил в умиленьи...  
«Довольно ликовать в наивном увлеченьи,—  
Шепнула Муза мне.— Пора идти вперед:  
Народ освобожден, но счастлив ли народ?..»

(II, 420)

В доказательство того, что слово «свобода» не могло означать у Некрасова крестьянскую реформу, но только освобождение родины от гнета антинародной власти, К. И. Чуковский приводит другой контекст слова «свобода»:

Мать-отчизна! дойду до могилы,  
Не дождавшись свободы твоей!

(II, 99)

Но слова в разных контекстах имеют разное значение. Взгляд на художественное произведение как на зашифрованную информацию склоняет к ошибочной тенденции рассматривать слова как знаки, имеющие всегда одно и то же значение.

Отмечу, что и другие некрасоведы, не склонные вообще преувеличивать значение эзопова языка в творчестве Некрасова, впадают иногда в аналогичную ошибку. Возьмем синоним слова «свобода» — слово «воля». Несомненно революционное значение этого слова в таком тексте, как:

Душно! без счастья и воли,  
Ночь бесконечно длинна.

(II, 275)

Но вот в поэме «Дедушка» в рассказе о Тарбагатае встречаем строку:

Волю да землю им дали.

(II, 281)

Казалось бы, смысл здесь очевиден? Сосланные «в страшную глушь» Забайкалья старообрядцы, благодаря самой ссылке освободившиеся от крепостной зависимости и получившие большие земельные участки, стали зажиточными:

Воля и труд человека  
Дивные дивы творят!

(II, 281)

Но вот что пишет В. Е. Евгеньев-Максимов: «„Волю да землю им дали“, — говорит дедушка, объясняя то чудо, воплощением которого явился Тарбагатай. Эти слова, кроме своего прямого смысла, имели и некий тайный смысл. «Земля и воля» — название революционной партии 60-х годов, с которой был тесно связан Чернышевский. Иными словами, Некрасов хотел сказать, что только путем реализации программы этой партии, определяемой ее названием, возможно превращение России в благоденствующий и цветущий Тарбагатай».<sup>1</sup>

Но «воля» в смысле свободы, которую принесет революция, совершенно не соответствует контексту, так как не имеет никакого отношения к благоденствию тарбагатайских крестьян. Что же касается организации «Земля и воля» 60-х годов, она была настолько законспирирована, что не была раскрыта даже правительственными органами; тем более она оставалась неизвестной тем читателям Некрасова, которых надо было пропагандировать.

В истории революционного движения более известна «Земля и воля» 70-х годов, но во время написания «Дедушки» ее еще не существовало. Однако К. Ф. Бикбулатова, развивая мысль В. Е. Евгеньева-Максимова, связывает эзоповские слова Некрасова и с этой организацией, восхищаясь прозорливостью поэта. Она пишет: «...Старый лозунг политической организации шестидесятников «Земля и воля» в то время еще не был возобновлен в среде революционной молодежи, и напоминание о нем именно в этой поэме несет двойную нагрузку — еще раз подчеркивает преемственность революционных традиций и играет свою роль в плане политическом, агитационном. <...> О глубокой прозорливости

---

<sup>1</sup> Евгеньев-Максимов В. Е. Творческий путь Н. А. Некрасова. М.—Л., 1953, с. 204—205.

Некрасова свидетельствует то обстоятельство, что новая революционная организация действительно получила то же название — „Земля и воля“».<sup>1</sup>

Свой тезис о том, что Некрасов, с целью провести в печать «опасные» мысли и чувства, тут же для обмана выражал мысли и чувства, противные его убеждениям и переживаниям,— этот тезис К. И. Чуковский распространяет и на произведения крупных жанров, применяя его даже к самой большой поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». При этом и самый сюжет поэмы оказывается, так сказать, псевдосюжетом, сочиненным для отвода глаз.

«Вся поэма,— пишет К. И. Чуковский,— один из величайших памятников эзоповой речи в России. Самое ее заглавие направлено к полной дезориентации цензуры. Писатель, который постоянно твердил:

Два лагеря, как прежде, в божьем мире:  
В одном рабы, властители в другом,—

(II, 582)

не мог допытываться вместе со странниками, «кому живется весело, вольготно на Руси», ибо во всех его произведениях, на протяжении всей его жизни, на этот вопрос всегда, неизменно давался один и тот же четкий и внятный ответ» (707).

К. И. Чуковский приводит несколько мест из стихов и прозы Некрасова, где «счастливыми», «счастливыми» названы богатые и знатные, и продолжает:

«Поэтому, когда в своей поэме он изображал дело так, будто он и вправду хочет дознаться, счастливы ли в России сановники, министры, купцы и помещики, это была, так сказать, дымовая завеса для прикрытия истинного сюжета поэмы. Некоторые мемуаристы повторяли, будто он хотел показать, что в тогдашней России не может быть счастлив никто, что все поголовно несчастны, что даже царь Александр II и тот имеет свою долю хлопот и забот, но признать это — значило бы, что Некрасов перевел свою поэму из политического плана в план житейского сострадания к врагам. Этого в его поэзии никогда не бывало» (708).

«Словом,— резюмирует К. И. Чуковский,— весь поставленный в этой поэме вопрос — кому на Руси жить

---

<sup>1</sup> Бикбулатова К. Ф. Поэма Н. А. Некрасова «Дедушка». — В кн.: Историко-литературный сборник. М.—Л., 1957, с. 125.



хорошо — нельзя не признать маскировкой подлинной некрасовской темы: как глубоко несчастлив народ, «облагодетельствованный» крестьянской реформой» (709).

Заметим прежде всего, что помимо мемуаров есть ведь источник более надежный — текст самой поэмы, в которой поп, помещик и чиновник (в набросках) свидетельствуют, что им живется не весело и не вольготно. Очевидно, так же должны были оценить свою участь купец, министр и царь, — ведь не собирался же Некрасов противопоставить их довольство жизнью самоощущению уже опрошенных представителей привилегированных слоев населения.

Мысль К. И. Чуковского сформулирована недостаточно четко: видимо, она сводится к тому, что ради возможности говорить о страданиях народа Некрасов заставил счастливых на самом деле баловней жизни объявлять себя несчастливыми.

Однако что же это за подарок цензуре — поэма о том, что не одни крестьяне, а все слои населения страны несчастны? Цензуре ведь желательно было бы обратное: чтобы писатели изображали все сословия империи благоденствующими.

Встает и тот вопрос, который мы уже задавали в отношении стихотворения «Свобода»: необходимо ли было искажение замысла произведения ради того, чтобы спасти основное в нем?

Тема бедствий и страданий народа, как известно, центральная тема Некрасова. Его и поныне называют «певцом народного горя». Он умел развивать эту тему без таких примесей, которые ее замутнили бы. Как бы извиняясь за постоянство, за традиционность этой темы в своем творчестве, он начал стихотворение «Элегия» (1874) словами:

Пускай нам говорит изменчивая мода,  
Что тема старая «страдания народа»  
И что поэзия забыть ее должна.  
Не верьте, юноши! не стареет она.

(II, 419)

Да и в самой поэме тема счастья или несчастья высших классов отпадает после первой части: дальше тема «бедствий народных» развивается самостоятельно и с гораздо большей резкостью, чем в первой части. Значит, никаких масок и сеток здесь не требовалось.

Снова мы встречаемся с попыткой навязать слову одно — как бы терминологическое значение. В «Кому на Руси жить хорошо» вопрос ставится, конечно, не о пошлом счастьее «к соблазну жадной толпы», дерущейся «за блага бранные» (III, 385). Надо учитывать революционно-просветительское понимание счастья, которое так веско звучит в конце поэмы:

Быть бы нашим странникам под родною крышею,  
Если б знать могли они, что творилось с Гришею.

(III, 245)

То есть подлинно счастливый человек — это «народный заступник», тот, кто свою жизнь отдает борьбе за счастье народа, хотя судьба готовит ему «чахотку и Сибирь».

Выше мы отметили правильность указания К. И. Чуковского на существование эзоповского приема понижения лиц и учреждений в ранге. Но это вовсе не значит, что любое сатирически изображенное лицо должно при дешифровке повышаться читателем в ранге до возможного предела. Между тем К. И. Чуковский стремится убедить нас, что чуть ли не все образы угнетателей — это псевдонимы царя Александра II.

Вот сатирическое стихотворение «Из автобиографии генерал-лейтенанта Федора Илларионовича Рудометова 2-го». Этот генерал «очень долго управлял учебным учреждением», затем стал «начальником цензуры» и, наконец, получил в управление «обширный край». В учебном заведении он налегал на «порядок» и «маршировку», в качестве начальника цензуры сменил пятнадцать либеральных цензоров, сумел разом «сократить журнальную подписку», добился того, что «гибли, гибли сотни книг, Как мухи в керосине», и «лопнули в пятнадцать дней Все книжные лавчонки». О деятельности во «вверенном крае» генерал говорит лапидарно:

Девиз: «Блюди — и усмирай!»  
Я оправдал на славу...

(II, 151)

К. И. Чуковский правильно указывает, что имеется в виду разгром печати в начале 60-х годов и усмирение польского восстания, что фамилия генерала произведена от слова «рудомет», то есть кровопускатель. Но что под маской Рудометова надо было распознать царя

Александра II — это обосновывается лишь тем, что он кровопускатель и тоже — как и Рудометов — второй.

Если начальник учебного заведения, цензор, генерал-губернатор — только маски, за которыми неизменно скрывается царь, и читатель так это и воспринимал (а иначе какой же это эзопов язык?), для него образы и весь художественный строй сатиры поблекли бы. Ведь после дешифровки сохраняет значение только раскрытый смысл, а те детали, в которых он был сокрыт, больше уже не представляют интереса. Если конкретные детали сатиры надо воспринимать как балласт или лигатуру, она теряет свою силу.

Или возьмем знаменитое стихотворение «Забытая деревня». К. И. Чуковский указал, что «читатели увидели здесь явный намек на недавнюю смену царей» (675) — Николая I Александром II.

Это единственный случай, когда К. И. Чуковский мог подкрепить свои толкования свидетельством о восприятии тех или иных читателей. Однако он же указывает, что и в стихотворении «В деревне» читатели видели в смерти Савушки, задранного медведем, намек на недавнюю смерть Николая I, затеявшего неудачную войну (677). Но здесь К. И. Чуковский не соглашается с таким эзоповым толкованием, поскольку стихотворение написано еще до смерти Николая I, в случае же с «Забывшей деревней» — соглашается: тут дата не подводит. Аллегоричность «Забывшей деревни» К. И. Чуковский доказывает так: «Не станет же Некрасов всерьез утверждать, будто вся беда крепостной деревни заключается в том, что ее владельцы живут вдалеке от нее! Будто, если бы барин и в самом деле приехал в деревню, он сразу осчастливил бы всех! Это так не вяжется с другими стихами Некрасова, что естественно склоняешься к мысли, что здесь скрыто иное значение» (676).

Можно ли так тезисно толковать художественные произведения? Так ведь можно поставить Некрасову в вину, зачем он изображает зверства Фогеля в «Кому на Руси жить хорошо» или других немцев-управителей в «Отрывках из путевых записок графа Гаранского». Как будто крестьянам было бы лучше, если бы господа сами управляли своими именьями, а не передавали власть над крестьянами бурмистрам и управляющим!

И опять при таком аллегорическом толковании бледнеют и отправляются в «сетку» конкретные образы бабушки Ненилы, Наташи, «вольного хлебопашца» Иг-

натия, а равно и бурмистра, главного управителя, лихоимца-соседа. Какой они могут иметь интерес, если функция только в затушевывании подлинного смысла?

Основная ошибка при исследовании эзопова языка заключается в том, что дешифруются отдельные слова без достаточного учета контекста. Так, К. И. Чуковский, приводя тексты Салтыкова-Щедрина и Чернышевского, в которых под словом «волки» понимаются «народные враги», стремится вложить тот же смысл в слово «волки» и у Некрасова, не считаясь с контекстом. Он пишет:

«В семидесятых годах, когда аресты и обыски царской охранки сделались массовым, повседневным явлением, Некрасов написал стихотворный памфлет «Путешественник», где вывел рыскавших по всей России жандармов в образе голодных волков. В то время волки, судя по газетным известиям, действительно свирепствовали во многих захолустьях России, так что иносказание Некрасова имело вполне легальную видимость:

В городе волки по улицам бродят,  
Ловят детей, гувернанток и дам...

(II, 407)

Но кто же не догадался бы в те времена, о каких волках идет речь?

В городе волки, и волки на даче,  
А уж какая их тьма на Руси!

(II, 407)

Очевидно, иносказание было слишком уж явно: при жизни Некрасова стихи так и не могли появиться в печати» (677—678).

Стоит, однако, обратиться к тексту стихотворения, чтобы убедиться в том, что никакого эзопова языка тут нет. Вот первая строфа:

В городе волки по улицам бродят,  
Ловят детей, гувернанток и дам.  
Люди естественным это находят,  
Сами они подражают волкам.

(II, 407)

Тут не иносказание, а сравнение настоящих волков, из-за которых скоро на Руси «не останется клячи», с жандармами, которые в стихотворении так и названы, а Россия названа «несчастной страной».

Ничего здесь Некрасов не сделал для цензуры, в которую стихотворение и не представлялось; напечатано оно лишь в 1913 году.

Такое же иносказание, что и в слове «волки», К. И. Чуковский усматривает и в более обобщенном слове «звери». По поводу стиха из «Псовой охоты»:

Много в отечестве нашем зверей! —

(I, 115)

он пишет: «Звери здесь опять-таки двуногие» (679).

Но прочтем этот стих в контексте:

Много у нас и лесов и полей,  
Много в отечестве нашем зверей!

Нет нам запрета по чистому полю  
Тешить степную и буйную волю.

(I, 115)

Речь явно идет о тех зверях, которых помещики уничтожали на псовых охотах, а не о тех, которые зверствовали, охраняя интересы помещиков.

Если бы подобные толкования некрасовских текстов оставались лишь достоянием прошлого, может быть, не было бы необходимости писать эту статью. К сожалению, в работах 60—70-х годов мы обнаруживаем те же дефекты, но еще значительно усиленные.

А. В. Попов посвятил ряд статей изучению топографии произведений Некрасова, то есть их связям с местами Ярославской, Костромской, Владимирской, Новгородской губерний. Однако «коньком» А. В. Попова был анализ эзопова языка. Основную идею исследователя можно было бы сформулировать так: все, что писал Некрасов, он писал о грядущей революции, если не прямо, то эзоповым языком.

Вот два примера интерпретации А. В. Попова, взятых из наиболее поздней его статьи.

Все мы помним с детства, что «Генерал Топтыгин» — это веселые стихи для детей о том, как медведя приняли за генерала. Согласно А. В. Попову дело обстоит едва ли не наоборот: Некрасов только для цензуры выдал стихотворение за детское, а генерала за медведя; на самом деле он имеет в виду именно генерала, символически представляющего монархическую власть, которую выгонит народная революция, как выгнали дубиной медведя из саней. Цитирую: «Посвящая «Генерала Топ-

тыгина» «детям», автор направлял внимание цензора на забавный рассказ о приключении с медведем. Хотя действующее лицо — медведь, но его изображение, начиная с красочных прозвищ, напоминает важных генералов. Медведь пугает население, лихо проезжая на тройке лошадей, как заправский генерал, но потом над ним устраивается деревенская потеха, а насмешки связываются с генеральским званием. В заключение прибежавший вожатый выгоняет сердитого «генерала» «из саней дубиной». Такой непочтительный конец в обращении хотя и с шуточным генералом мог подрывать, ослаблять привычный страх перед генералами и вызывать мысль о необходимости освободиться от них. Подзаголовок «Посвящается детям» позднее был вычеркнут самим автором, когда он (...) увидел возможность обойтись без него и приоткрыть свою мысль».<sup>1</sup>

А вот интерпретация поэмы «Коробейники»: «В ней рассказывалось, как два сильных коробейника погибли от одного слабого, глупого деревенского парня, которого в лесу они приняли по своей темноте за лешего, некую нечистую силу. Только таким намеком рассчитывал Некрасов разъяснить читателю, почему сильный народ подчинился ничтожному меньшинству помещиков, которые сумели обмануть его гибельной реформой 1861 года».<sup>2</sup>

Такие толкования не требуют разбора и опровержения, но я хотел бы обратить внимание на связь произвола в интерпретациях с тем небрежением фактами, которое так рельефно обрисовал И. Г. Ямпольский. Ведь Некрасов вовсе не выводил «Генерала Топтыгина» за пределы цикла «Стихотворения, посвященные русским детям», он всегда печатал его в составе этого цикла; а коробейники приняли своего убийцу не за лешего, а за лесника.

Удивительно, в какой мере стремление обнаружить эзопов язык приводит исследователей к потере понимания смысла как целых произведений, так и отдельных фраз.

---

<sup>1</sup> Попов А. В. Некрасов и Новгородский край.— В кн.: Новгородский вклад в поэзию Некрасова. Новгород, 1961, с. 30—31.

<sup>2</sup> Там же, с. 16.

Лингвистка Т. Н. Кондратьева комментирует следующий отрывок из «Балета»:

...Я боюсь первых мест.  
Что за радость ослепнуть от блеска  
Генеральских, сенаторских звезд.  
Лучезарней румяного феба  
Эти звезды: заметно тотчас,  
Что они не нахватаны с неба —  
Звезды неба не ярки у нас.

(II, 200)

Здесь Некрасов играет двумя значениями слова «звезды»: небесные тела и знаки отличия, и оценивает умственные способности министров и сенаторов, применяя к ним известное выражение «звезд с неба не хватают». Смысл здесь настолько явен, что и эзопова языка, собственно, нет. Но исследовательница хочет увидеть здесь еще и тайное, эзоповское прославление революционных демократов и для этого находит тут третье значение слова «звезды» — «выдающиеся лица». «В первом предложении, — пишет Т. Н. Кондратьева, — дано прямое значение слова *звезды* — знаки отличия, дарованные царем министрам и сенаторам. Во втором предложении приемом эзопова языка создается впечатление, что будто бы речь идет тоже о знаках отличия; указательное местоимение «эти» подчеркивает эту мысль. Однако Некрасов (...) говорит не о знаках отличия, а о людях, которые их носят, но не отличаются ни умом, ни способностями, хотя внешность их *лучезарней* божества солнечного света и поэзии. Естественно, что знаки отличия нельзя сравнивать с Фебом, поэтому «проницательный читатель» невольно слово «звезды» ассоциирует со словосочетанием «выдающиеся люди». (...)

Третий повтор обобщает суждение: звезды — настоящие люди, нужные России и выдающиеся своими способностями, лишены внешнего блеска: *Звезды неба не ярки у нас*.<sup>1</sup>

Получается явная нелепость: «не нахватанными с неба» оказываются не звезды, украшающие вельмож, а сами эти вельможи; их поэт будто бы и имеет в виду под «генеральскими, сенаторскими звездами». Исследовательница не поняла и того, что феб здесь не божество,

---

<sup>1</sup> Кондратьева Т. Н. Полисемия слова на повторе (На материале эзопова языка Н. А. Некрасова). — В кн.: Вопросы грамматики и лексикологии русского языка. Казань, 1964, с. 191.

а синоним солнца (почему Некрасов и написал это слово со строчной буквы), а «звезды неба не ярки у нас» — значит на севере или прямо в Петербурге.

Вот еще один комментарий Т. Н. Кондратьевой — к стихам об игроках из «Недавнего времени»:

Пусть вас минус в игре не смущает,  
Игроки! пусть не радует плюс,  
Смерть придет — все итоги сравниет:  
Будет, будет у каждого плюс!..

(II, 308)

«Слово плюс,— пишет Т. Н. Кондратьева,— употреблено не в двух значениях (1. Значок в виде крестика, используемый при игре; 2. Преимущество), а в одном значении — «выгодная сторона, преимущество» господствующего класса — игроков, хотя на первый взгляд и кажется, будто бы поэт берет только одно первое значение; игрой слов поэт язвительно замечает: пусть не радуют временные успехи господ-дворян и буржуа в политической игре, потому что все равно они обречены на смерть, а *смерть придет — все итоги сравниет: будет, будет у каждого плюс!*»<sup>1</sup>

Опять исследовательница не поняла текста: плюс во втором значении — как и в первом — это тоже крест, но на этот раз не на сукне, а над могилой. Преимущества дворян тут ни при чем.

Наиболее поздней из известных мне работ об эзоповом языке Некрасова является статья В. А. Малкина, опубликованная в 1974 году,— «Фигура умолчания в произведениях Н. А. Некрасова».

Повествуя в стихотворении «В дороге» о судьбах крепостной интеллигентки, выдворенной мужем «барышни» из господского дома, где она воспитывалась, и выданной замуж за крестьянина, Некрасов не уточняет конкретно обстоятельств, приведших к этим событиям. Ямщик говорит ездоку:

Знать, она согрubiла ему  
В чем-нибудь, али напросто тесно  
Вместе жить показалось в дому,  
Понимаешь-ста, нам неизвестно.  
Воротил он ее на село —  
Знай-де место свое ты, мужичка!

(I, 96)

---

<sup>1</sup> Там же, с. 192.



Но то, что неизвестно рассказчику, достоверно известно В. А. Малкину. Он знает, что молодой барин стал «приставать» к Груше. Правда, «прямо о его предосудительных поползновениях ничего не сказано. Об этом автор должен был писать осторожно. Стихотворение и без того находилось на грани цензурного дозволения».<sup>1</sup>

Но В. А. Малкин знает и больше того. Оказывается, на самом деле мужу Груши вся ее печальная история известна и он не утаил ее от проезжего барина, — и только Некрасов из-за цензуры написал все не так, как было. «Мужу Груши не могла быть неизвестной вся подоплека ее изгнания, — пишет В. А. Малкин. — Эта неожиданная уклончивость в его откровенном и бесхитростном рассказе — следствие стесненного положения автора, который вынужден был умолчать о многих подробностях крепостного быта. Но молчит он здесь так выразительно, что становится достаточно очевидным, чем не угодила Груша своему барину».<sup>2</sup>

Если бы исследователи имели право дополнять литературные сюжеты эпизодами собственного сочинения, мы бы ничего не могли возразить В. А. Малкину, кроме того, что можно и иначе — и с той же степенью достоверности — развить некрасовский сюжет. Помещик necessarily должен был сразу же после женитьбы подыскивать себе крепостную любовницу. Может быть, его шокировала манера Груши держаться с господами, не соответствующая ее званию, или просто он счел неприличным, чтобы в доме на положении компаньонки барыни жила крепостная. Так ведь, собственно, и объясняет мотивы барской воли муж Груши, оговаривая, что в точности эти мотивы ему неизвестны. Барин и не обязан был обосновывать свои приказы; ямщик мог и не спрашивать жену, чтобы не бередить ее душевных ран, а мог незнакомому барину и не сообщить интимных подробностей этой истории. Мало ли какие сюжетные ходы можно еще придумать.

Образец более грубой методологической ошибки дает нам интерпретация другого текста в той же статье.

Как известно, заглавной теме лирической поэмы «Тишина» посвящена 3-я главка этого произведения.

---

<sup>1</sup> В кн.: Вопросы поэтики литературы и фольклора. Воронеж, 1974, с. 93.

<sup>2</sup> Там же.

Над всею Русью тишина,  
Но — не предшественница сна:  
Ей солнце правды в очи блещет  
И думу думает она.

(II, 11)

Половина ее занята темой, которая вводится следующими словами:

Молчит и он... как труп безглавый,  
Еще в крови, еще дымясь;  
Не небеса, ожесточась,  
Его снесли огнем и лавой:  
Твердыня, избранная славой,  
Земному грому поддалась!

(II, 10)

А заключается словами:

Но тихо... В каменные раны  
Заходят сивые туманы,  
И черноморская волна  
Уныло в берег славы плещет...

(II, 11)

Ни один комментатор или исследователь до сих пор не сомневался в том, что эти стихи посвящены Севастополю. Однако В. А. Малкин сомневается в этом, усматривая и здесь эзопов язык. Он пишет: «В произведениях Некрасова порой встречаются как бы недоработанные, не вполне ясные места. Пример такой нарочитой неясности находим в поэме «Тишина». <...> «Молчит и он...» Здесь читатель наталкивается на многоточие, как на препятствие, задерживающее внимание. Кто он? Очевидно, это разрушенный Севастополь. Но почему слово *он* выделено курсивом? При этом сказано «молчит и он», то есть даже *он*, *он* в смысле главного лица, последней инстанции. <...> Вероятно, *он* — тот же народ. А может быть, *он* и есть тот главный ответчик за все реки крови на земле, которому четверть века спустя Иван Карамазов вернет билет? Утверждать, что словами «молчит и он» Некрасов хотел сказать «молчит и бог», прямых оснований нет. Но и категорически отвергать подобное истолкование тоже нельзя. Несомненно одно, что неясность, допускающая многозначность истолкования, неясность умышленная, способ зашифровки сокровенной мысли».<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Там же, с. 95.

«Умышленная неясность» возникает тут только от умысла найти «зашифровку сокровенной мысли» там, где мысль совершенно открыта и ясна.

Излишне, я полагаю, и опровергать подобные истолкования. Замечу только, что в царской России как имя бога, так и замещающее его местоимение обязательно печатались с прописной буквы; читатель понимал, что речь идет о боге и тогда, когда слова «бог» или его синонимов в тексте не было, как например в стихотворении Фета «Горы»:

Мне так легко,— я жизнь познал,  
И грудь так сладко дышит ею,  
Я никогда не постигал,  
Что ныне сердцем разумею:  
Зачем Он горы выбирал,  
Когда являлся Моисею,  
И отчего вблизи небес  
Доступней таинства чудес!<sup>1</sup>

Но никогда слово бог или соответствующее местоимение не маркировалось вместо прописной буквы курсивом.

Смысл курсива в данном случае очевиден. Слово «он» несет здесь большую смысловую нагрузку: Севастополь ранее не назван. Не назван он прямо и далее, его имя заменяет перифраза «твердыня, избранная славой» и относящиеся к ней местоимения: «перед ней», «в ней», «ее», которые, кстати сказать, не могут относиться ни к народу, ни к богу уже по несовпадению в грамматическом роде.

Ряд общих вопросов возбуждает то, что пишут об эзоповом языке Некрасова. Прежде всего: приводятся ли какие-нибудь доказательства того, что хотя бы современники Некрасова (если уж он не заботился о будущих читателях) понимали его стихи так, как их теперь нам разъясняют исследователи? Нет, никаких свидетельств современников они не приводят.

Объясняют ли, по крайней мере, те ходы мысли, с помощью которых читатели приходили к прозрению истинного смысла того, что говорит им автор, если он говорит не то или даже противоположное тому, что должны значить его слова? Нет, в рассматриваемых работах и этого нет.

---

<sup>1</sup> Фет А. А. Полн. собр. стихотворений. Л. (Б-ка поэта, Б. с.), 1959, с. 421.

Я отнюдь не хочу сказать, что автор в эзоповских целях не может утверждать противоположное тому, что он хочет внушить читателю; напротив, это один из самых распространенных приемов эзопова языка; можно привести сколько угодно примеров употребления его и у Чернышевского, и у Добролюбова, и у Щедрина, и у самого Некрасова. Но в этих случаях всегда есть указание на то, что автор иронизирует. Часто речь автора приобретает явно «ролевой» характер: создается «авторская маска» — это обычно яростный реакционер, обрушивающийся на все мало-мальски прогрессивное. То, что он говорит, так резко противоречит высказываниям автора «от себя» в других произведениях, а то и в данном, что это исключает ошибку в понимании любым читателем подлинного смысла эзоповских слов.

Но такой прием внушения обратного сказанному совсем не похож на постулируемый К. И. Чуковским «прием наложения сетки».

Поэт, обращаясь к матери-родине, родному народу, к своей музе, произносит высокие слова о радости, не сравнимой ни с чем пережитым прежде, а читатель будто бы должен понимать, что это фальшивые слова.

Все, что могут сказать исследователи эзопова языка Некрасова по вопросу о понимании его тайнописи читателями, сводится лишь к тому, что читатели, сочувствовавшие идеям Некрасова и искушенные в понимании эзопова языка революционных демократов, безошибочно понимали тайный смысл слов поэта. Такая концепция делает Некрасова поэтом «для немногих», для элиты, прошедшей специальное обучение революционной тайнописи. На самом деле Некрасов имел круг читателей более широкий, чем все его предшественники, и мечтал о еще более широком круге; он мечтал о том, чтобы его стихи дошли до народа, и писал так, чтобы эта мечта могла хоть когда-нибудь сбыться.

С народностью стихов Некрасова связана их понятность и подкупающая искренность. Вероятно, если бы почитатели его «свободной музыки» заподозрили, что он способен с видом искренности и страстности говорить обратное тому, что думает, — это скорее охладило бы их любовь к поэту, чем очаровало искусством обманывать цензоров.

Исследования эзопова языка в том духе, который здесь разбирается, непременно постулируют образ дурака-цензора, который не мог понять того, что понимали

читатели (хотя бы достаточно проницательные). Между тем в литературе не раз уже указывалось,<sup>1</sup> что цензоры эпохи реформ — это не цензоры николаевского времени, славившиеся тупостью и невежеством. В эпоху Александра II в цензуре служили известные писатели (Гончаров, Тютчев, Майков, Полонский), люди, причастные к литературе (Лазаревский, Феофил Толстой, Фукс), во всяком случае, достаточно образованные, чтобы понимать то, что они цензуровали, — но, согласно либеральному цензурному уставу, цензоры должны были руководствоваться прямым смыслом произведения, а не запрещать его из-за подозреваемого тайного смысла, из-за неопределенных намеков.

Приемы эзопова языка были направлены на то, чтобы лишить цензора возможности запрета, хотя бы он и понимал, каковы «задние мысли» цензуруемых текстов. Конечно, эзопов язык иногда и дезориентировал цензоров, но чаще был орудием не обмана, а обхода цензуры.

Пора сказать о том, что среди работ, специально или частично посвященных эзопову языку Некрасова, имеется исследование, резко отличающееся от разобранных выше по научному стилю, методам и выводам. Это работа А. М. Гаркави «„Эзоповский язык“ и его место в системе художественных образов Некрасова», входящая в качестве главы в книгу автора «Н. А. Некрасов в борьбе с царской цензурой» (Калининград, 1966).

Отводя эзопову языку у Некрасова гораздо более скромное место, чем другие авторы, А. М. Гаркави убедительно показывает, что «у Некрасова «эзоповский язык» обычно не выступает в «чистом» своем виде, не определяет собою жанр и композицию произведений» (с. 24). Далее А. М. Гаркави пишет: «Произведения Некрасова (в том числе и те, которые насыщены элементами «эзоповского языка») обычно обладают одноплановым построением. Описанные здесь явления составляют подлинную (а отнюдь не «ложную», не «показную») тематику. Но при этом иные произведения навели читателей на явно «запретные» мысли, вызывали «запретные» аналогии и т. п.» (с. 24).

---

<sup>1</sup> См., например: Евгеньев-Максимов В. Е. В тисках реакции: К столетию рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина. М.—Л., 1926, с. 27—28.

«...Иносказательные жанры (типа политической аллегории) для Некрасова не были характерны. В его произведениях «расшифрованы» могут быть отдельные намеки, но произведения в целом (в подавляющем большинстве случаев) «расшифровке» не подлежат» (с. 166).

«Иногда он (Некрасов.— Б. Б.) присочинял к своим произведениям особые маскирующие «довески», которые не наносили существенного ущерба, т. к. имели лишь служебный характер (при перепечатках поэт изымал их)» (с. 166).

Читатель вправе спросить: если имеется работа, правильно ставящая вопрос об эзоповом языке Некрасова, нужен ли разбор ошибок и неверных тенденций, сделанный в настоящей статье? Думаю, что нужен. А. М. Гаркави не ставил себе цели дать характеристику вопроса об эзоповом языке Некрасова в исследовательской литературе, не дал обзора статей, посвященных этому вопросу. Притом его книга не имела должного резонанса. На нее не ссылаются, ссылаются только на статью К. И. Чуковского, которая продолжает цитироваться и излагаться без малейшей критики.<sup>1</sup> Статьи же более новые до сих пор не подвергались никакой критике. Они печатаются в трудах научных учреждений и вузов и воспринимаются молодыми исследователями, учителями-словесниками, студентами как последнее слово науки.

Отмечу еще, что хотя общий взгляд А. М. Гаркави на эзопов язык Некрасова объективен и хорошо аргументирован, в отношении отдельных текстов ученый, по моему мнению, не всегда достаточно последователен. Так обстоит дело с царями, якобы скрытыми под разными масками. А. М. Гаркави отвергает предположение В. Е. Евгеньева-Максимова, «что в стихотворении «Отраднo видеть, что находит...» (1845) поэт тайком от цензуры называл Николая I подлецом» (с. 136), но готов, вслед за К. И. Чуковским, видеть царя под «маской» генерала Рудометова II (с. 138—139). По вопросу же о царях в «Забытой деревне» он то отвергает утверждение К. И. Чуковского (с. 25), то соглашается с ним (с. 138).

---

<sup>1</sup> См. например: В л а с о в М. Ф. Изучение языка и стиля Н. А. Некрасова в советскую эпоху.— В его кн.: О языке и стиле Н. А. Некрасова. Учебное пособие по спецкурсу. Пермь, 1970, с. 49.

Книга А. М. Гаркави интересна не только постановкой вопроса об эзоповом языке Некрасова; основным содержанием ее является рассказ о цензурных мытарствах поэта, о бесконечных запретах, заменах и всяческих искажениях, которые производила над его произведениями цензура.

Огромный материал, собранный А. М. Гаркави, говорит о том, что в бой с цензурой Некрасов, как правило, шел с открытым забралом, предпочитая цензурный запрет произведению приведению его в такой вид, при котором читатель мог бы быть сбитым с толку.

Создается впечатление, что «эзоповское» приспособление к цензуре играло в творчестве Некрасова гораздо меньшую роль, чем прямая речь «свободной музыки», которой приходилось чаще «честно молчать», чем обходить и приспособливаться.

Между тем приспособление Некрасова к цензуре настолько преувеличивается исследователями его эзопова языка, что это вызывает у иных литературоведов даже некоторое осуждение приспособленчества Некрасова. Так, Ф. Я. Прийма пишет:

«К популяризации запретных идей под флером угоднических заверений почти никогда не прибегал Чернышевский, их решительно отвергал Добролюбов, но Некрасов относился к ним с известной терпимостью, может быть, по инерции, поскольку в пору выхода его на литературную арену тактика реверансов властям придерживавшим широко применялась прогрессивной журналистикой, ее культивировал даже неистовый Белинский».<sup>1</sup>

Этот косвенный упрек вряд ли заслужен Некрасовым (вопрос о Белинском — решать не здесь).

Огромная текстологическая работа, начатая К. И. Чуковским и продолженная большим коллективом советских текстологов, освободив тексты Некрасова от цензурных искажений, показала подлинное лицо поэта революционной демократии. Вслед за текстологами историки литературы пересмотрели прежнее понимание Некрасова, жиддившееся на искаженных текстах.

Однако при этом нередко проявлялось излишнее усердие: некоторые литературоведы пытались найти революционно-демократические призывы чуть ли не в каждой строчке Некрасова. Для этого прибегали к та-

---

<sup>1</sup> Прийма Ф. Я. Поэзия любви и гнева. — «Русская литература», 1971, № 4, с. 14.

ким методам, которые могли только скомпрометировать верные, имеющие большое научное и общественно-политическое значение идеи советского некрасоведения, в частности к насильственному толкованию смысла ряда стихотворений Некрасова, как якобы написанных эзоповым языком.

Ошибки, прослеженные нами,— результат тенденции, характерной для тех лет, когда писалась статья К. И. Чуковского, но не изжитой вполне и донныне. Это тенденция к так называемому «улучшению истории», к выпрямлению ее часто зигзагообразного движения. Творчество писателя претерпевает эволюцию, колебания, смену настроений. Но если писатель сказал не то, что, по мнению исследователя, всегда должен был говорить, в работах такого типа подобный текст либо игнорируется, либо перетолковывается. Одним из основных средств такого перетолковывания и является утверждение, что не подходящий под заданную формулу текст написан эзоповым языком. Этому поветрию подвергся даже К. И. Чуковский. Парадоксально, что именно он, первый по-настоящему поставивший вопрос о Некрасове как великом художнике, первый начавший плодотворно изучать поэтическое мастерство Некрасова, первый же написал статью, где поэтические символы тракуются как шифровальные знаки, где утверждается, будто Некрасов писал произведения, многие строки которых «не нужно читать», и присоединил эту статью к своей замечательной книге о мастерстве Некрасова, в которой она выглядит как чужеродный привесок.

Борясь за преодоление нашим литературоведением недостатков, мы должны, в частности, очистить от произвола и фальши изучение эзопова языка русских писателей.